УДК 94(47+57): 94(510)
DOI 10.17223/19988613/37/16

И.О. Пешков

НОВОЕ ПРОШЛОЕ ДЛЯ НОВЫХ ГОРОЖАН: СЛЕДЫ РОССИЙСКОГО ПРИСУТСТВИЯ В ПРИГРАНИЧНЫХ ГОРОДАХ КИТАЯ

*Исследование выполнено при финансовой поддержке Национального центра науки (Польша)
(грант № DEC 2012/05/E/HS3/03527).*

Проводится анализ роли следов российского присутствия в общественных городских пространствах Северного Китая. Главное внимание будет сосредоточено на механизмах воспроизведения российского (Маньчжурия) и изобретения сибирского символического поля в синкретической среде приграничных районов китайской Внутренней Азии. В современном Китае рост интереса к российскому наследию подчинен неолиберальному переописанию культурного пространства региона в категориях инвестиционной привлекательности с сохранением идеи стабильной фронтальной лояльности местного населения. Демилитаризация региона привела к попыткам включения российского наследия в современную жизнь приграничных городов. Модели этого включения во многом отвечают потребностям новой демографической и культурной ситуации, созданной фронтальными формами социализма, – поиску новых форм коллективной памяти и локальной идентичности. Де-проблематизируя Россию как часть локальной истории, регион практически изобретает новые культурные модели, не встречающиеся в его прошлом. Городские пространства в этом контексте становятся местом материализации политического консенсуса по отношению к прошлому.

Ключевые слова: Китай; граница; городское прошлое.

Рост интереса к общественным формам переживания истории (public history) перемещает описанную Мишелем Фуко борьбу между римской и библейской версиями прошлого [1] из удобных университетских кафедр на подмостки общественной жизни. Широко обсуждаемые конфликты между взаимоисключающими национальными версиями прошлого, между историографией и памятью, между свободной и несвободной историографией оставили в тени проблему отношений между возникающими в процессе ускоренной урбанизации новыми городскими сообществами и материальными репрезентациями прошлого в культурном пространстве города. Особенно это касается приграничных городов, где культурные процессы напрямую связаны с изменениями режима управления границей. Роль границы трудно переоценить: она одновременно актуализирует и драматизирует материальные следы присутствия соседей, заставляя городское сообщество постоянно переосмысливать возможности использования «внешнего» наследия. К тому же социалистическая граница была полем применения сверхинтенсивных практик социальной и этнической стерилизации: массовых депортаций, милитаризации приграничных территорий, организации приграничного пространства как военно-промышленной базы, организованного притока пришлого населения в приграничные районы, а также особенного «внимания» государства к трансграничным сообществам. Это вело к радикальным переменам в коллективной памяти и подчинению локального опыта космополитической культуре защитников социалистических рубежей. Новые формы во многом контролировали формы репрезентации прошлого, акцентируя патриотическую лояльность местного населения.

В этой перспективе процессы трансформации приграничных поселений из изолированных и военизиро-

ванных «бастионов» в места формальных и неформальных трансграничных контактов в случае приграничных районов Китая имеют не только пространственные, но и темпоральные последствия в виде непосредственной конфронтации жителей региона со следами российского присутствия. В случае Внутренней Монголии одновременное наложение четырех национальных нарративов о прошлом (китайского, монгольского, эвенкийского и российского) приводит к оригинальным практикам разведения опыта российской колонизации (оцениваемого негативно) и материальных следов российского присутствия (оцениваемых позитивно).

Целью статьи является анализ роли следов российского присутствия в общественных городских пространствах Северного Китая. Главное внимание будет сосредоточено на механизмах воспроизведения российского (Маньчжурия) и изобретения сибирского символического поля в синкретической среде приграничных районов китайской Внутренней Азии. Пространственные и темпоральные аспекты азиатских моделей урбанизации часто остаются в тени социальных и институциональных практик городской жизни. Статья имеет целью восполнить этот пробел на китайском материале, включая историю китайских урбанизационных практик в широкий контекст поиска новой аутентичности в приграничных регионах.

В современном Китае рост интереса к российскому наследию подчинен неолиберальному переописанию культурного пространства региона в категориях инвестиционной привлекательности с сохранением идеи стабильной фронтальной лояльности местного населения. При этом восторженное отношение к российской архитектуре и памятникам сочетается с однозначной критикой царской политики в Китае (белая эмиграция

воспринимается как продолжение царской России). Похожий алгоритм действует в случае практик ресибризации: сибирские элементы культуры эвенков не только не противопоставляются китайским, но и становятся символом утраты северных территорий и вынужденного ухода маленького народа в Маньчжурию вместе со своим государством. Демилитаризация региона привела к попыткам включения российского наследия в современную жизнь приграничных городов. Модели этого включения во многом отвечают потребностям новой демографической и культурной ситуации, созданной фронтирными формами социализма, – поиску новых форм коллективной памяти и локальной идентичности. Депроблематизируя Россию как часть локальной истории, регион практически изобретает новые культурные модели, не встречающиеся в его прошлом. Новая гибридность включает северо-китайские города в едва уловимые системы знаков, отделяющие их от остального Китая. Новые декорации открытости и поликультурности не просто являются инструментом культурной политики. Для большинства новых горожан они становятся основой новой идентичности, создавая контексты российского присутствия и культурного богатства региона. Городские пространства в этом контексте становятся местом материализации политического консенсуса по отношению к прошлому.

Машина обучения прошлому: новые биографии объектов в условиях демилитаризации границы. Категория городской памяти является метафорой, представляющей способность городского сообщества сохранять и реактивировать материальные репрезентации прошлого. Она объединяет пространственный и материальные повороты в исследованиях городских агломераций. В первом случае на основе теории социальной репрезентации (Social Representation Theory) предлагалось рассматривать географическое пространство города как поле социальной репрезентации, прежде всего пространственной локализации социальной памяти [2. Р. 29.1]. Во втором случае акцентируются места памяти в пространстве современных городов в виде специально выделенных зон коммеморации, руин [3] и гибридных архитектурных форм. Следует отметить, что в обоих случаях за нормативной простотой и материально-физиологическим характером ключевых метафор кроется довольно сложная эпистемология. Представление объектов как воспоминаний городского тела, как и перенос концепции следа (*la trace*), предложенной в работе Жака Дерриды «О грамματοлогии» (1967), на материальные объекты, не позволяют уйти от проблемы молчания предметов и множественности способов их включения в социальный контекст.

Более успешным представляется подход, представленный в статье М. Гуггенхэйма «Building memory: Architecture, networks and users». Это удачная попытка включения культурных биографий предметов в более широкую перспективу связи модерности, коллективной памяти и дееспособности объектов. Описывая совре-

менность как процесс превращения всего в объекты с собственной историей и биографией [4. Р. 39], Гуггенхэйм создал возможность нового прочтения изменений в биографиях объектов в условиях резкой смены модели модернизации [5. Р. 96]. В этой перспективе, используя универсальные для каждой модели модернизации механизмы создания и изменения биографии объектов, можно проследить специфику этнизации городов китайского севера. Идея восприятия символического пространства приграничных городов и деревень Китая как машины обучения [6] может дать возможность комплексного подхода к пониманию роли российских символов в процессе поиска новой региональной идентичности. Биографии объектов не только переписываются для новых городских сообществ, но и участвуют в создании новых сообществ, способных распознавать «чужое» прошлое как свое.

Для китайских приграничных регионов социалистическая модернизация была переходом к особому типу модерности, который отличался совершенно закрытой моделью управления границей и эффективным государственным контролем над территорией и населением. Ее важным элементом была непосредственная связь между социалистической модернизацией и милитаризацией социальной и экономической жизни [7, 8]. Решающую роль сыграло государство, которое через контроль прав собственности и ограничения экономического выбора гарантировало экономический рост, социальный прогресс и безопасность. Монополизация инвестиционных и организационных решений дала возможность радикального увеличения темпов индустриализации и урбанизации, а также массового доступа к начальному и высшему образованию [9].

Социалистическая модель индустриализации, благодаря концентрации активов, знаний и рабочей силы, привела к ускоренной трансформации локальных социальных и экономических структур. Государственная политика форсированной урбанизации создала специфическую форму социальной организации, определяющую все стороны жизни приграничного населения – военно-индустриальный приграничный комплекс. Его отличала абсолютная зависимость от государственной поддержки, что создавало ситуацию высокого социального риска во время демилитаризации границы и реформирования промышленности. В этом контексте социалистическая идеология была неразрывно связана с идеологией развития в границах императива безопасности. С момента основания КНР городское планирование становится прерогативой государства, которое не только поднимает этот вопрос на национальный уровень, но и берет прямую ответственность за процессы городского развития. Диахроническая связь между традиционной китайской моделью соседства и советской формой микрорайона решалась в перспективе индустриальной политики и идеи города-фабрики. Следует отметить связь китайской модели урбанизации с практиками нациестроительства. Городское пространство

становится основой модернизации. Конструируя китайскую нацию как сообщество современности, правительство превращало когда-то автономные городские пространства в места материализации утопии и обучения новым моделям жизни [10]. Созданные в социалистический период жилищные комплексы рабочих коллективов как основная форма китайской урбанизации до сегодняшнего дня определяют структурные особенности китайских городов.

Массовая миграция из центра и распространение начального образования в социалистической школе маргинализировали гибридную культуру приграничных регионов и резко увеличили культурную дистанцию между российской и китайской сторонами границы. Это радикально изменило облик приграничных поселений – гибридные архитектурные формы вытеснялись фронтальными моделями урбанизации. Их специфика состояла в ключевой роли военизированных институтов со свойственной им эстетикой порядка и космополитичности и подчинении исторических объектов репрезентации национальной и политической лояльности.

Открытие границ и резкий рост мобильности приграничного населения приводят к попыткам изобретения новой истории для новых приграничных территорий. Сосед (Россия) перестает быть врагом и угрозой, превращаясь в источник культурного разнообразия. Китайская сторона практически сразу воспринимает границу как ресурс не только экономического, но и социокультурного развития. Приграничный статус и сохранившиеся следы российского присутствия дают возможность описания региона как вектора эндогенной вестернизации Китая. Китай реализует модель реформ, в рамках которой черты переходного общества, благодаря неравномерной либерализации, консервируются на неограниченный период [11], но социальная ответственность государства последовательно переносится в зону частной ответственности граждан [12]. Это создает поле для гибридных стратегий, в которых старые методы принуждения к современности сочетаются с новыми методами включения в рынок.

Именно спрос на новый, привлекательный облик региона радикально меняет статус российского наследия. Особые связи с Россией становятся основой новой региональной идентичности. Опыт фронтального социализма полностью меняет контекст и смысл новой трансграничности: российское наследие становится просто местной китайской экзотикой, интересной в связи с особой ролью СССР в китайской истории. Эта «китайская Россия» ориентирована прежде всего на Китай и создана в контексте китайского культурного поля. Китайское общество видит себя многокультурным организмом, способным переварить и использовать в своих целях следы чужого (часто колониального) присутствия. Особенно это касается архитектурного наследия городов с частично колониальным архитектурным фондом, статус которого радикально пересмат-

ривался в течение последней половины века. Европейская и японская архитектура северно-китайских городов была в разное время символом навязанной извне модернизации (до 1949 г.), клеймом колониального позора (в период Культурной революции) и важным символом культурного разнообразия региона (сегодня). Общекайтайские процессы региональной дифференциации и акцент на культурные аспекты инвестиционной привлекательности приводят к ситуации, когда оставшиеся старые здания, построенные в европейском стиле, позитивно переоцениваются рынком, создавая запрос не только на сохранение, но и воспроизведение богатого культурного наследия региона. Возникшая ситуация во многом обратна практикам «культурной революции», направленным на уничтожение чужого присутствия. Теперь классические китайские кварталы без сожаления вытесняются современными зданиями, в то время как следы европейского наследия бережно сохраняются для китайского или заграничного туриста. В этой перспективе вопросы сохранения и воспроизведения российского наследия в Китае касаются более широких процессов создания новых региональных идентичностей.

Хорошей иллюстрацией может быть пример Хайлара, активно использующего «европейскую» архитектуру как часть новой идентичности города. История Хайлара изменчива и противоречива: с 1732 г. он был эвенкийской крепостью, китайским городом, русской железнодорожной станцией, важной военной базой квантунской армии и как минимум два раза *монгольским городом* с преобладающим китайским населением. Русский район Хайлара напрямую связан с историей КВЖД и был построен в начале XX в. в пяти километрах от старого города. Как и все поселения в зоне отчуждения, город был включен в российскую символическую политику: одним из первых памятников был обелиск в честь 300-летия Дома Романовых. Русское присутствие усиливается после гражданской войны, когда массовая эмиграция из России радикально меняет лицо города. В отличие от Харбина, японское присутствие не привело к массовому оттоку российских эмигрантов. После 1945 г. число эмигрантов неуклонно падает, и сегодня в Хайларе осталось только несколько семей китаизированных русских. Российский Хайлар сходен с типичным для Восточной Европы «брошенным городом», заново осваиваемым новыми горожанами. Специфика географического положения и китайской национальной политики привела к демографической и символической монголизации города.

Сложное прошлое отразилось в архитектурном облике, который причудливо сочетает старый китайский квартал, русские здания, социалистическую архитектуру и новые формы современного китайского города, ориентированные на юго-восточный пояс развития страны. Город носит явно постграничный характер, соединяя обозначенную в городском пространстве близость России и Монголии с ярко выраженной ло-

кальностью и отсутствием контактов с границей. Несмотря на это, хорошо заметна потребность обозначения новой трансграничности: не-китайские маркеры широко представлены в его символическом пространстве. Старые здания с русскими надписями, русские сувениры в магазинах и хлебные лавки показывают, что приграничная жизнь ушла из города, но представляет для него определенную ценность. Российское символическое поле не связано напрямую как с российским прошлым города, так и с его приграничной локализацией. Мы имеем дело с очень интересным примером культурного разнообразия, не связанного ни с трансграничным обменом, ни с изменением этнического состава.

Город воспроизводит *русский след* исключительно для внутреннего использования, его жители психологически находятся далеко от границы. Очень интересен абсолютно современный характер нового прошлого: одновременно с созданием российского следа формируется канон локальной истории, в которой нет места русскому Хайлару. Местный краеведческий музей, книжные лавки и места туристической информации практически игнорируют тему российского присутствия в городе. Это связано с двумя императивами новой трансграничности: репрезентаций культурного разнообразия и акцента на фронтирную лояльность местного населения. В этом контексте ориентированная на туристов популярная этнография и официальный рассказ о жителях китайского фронта жестко разделены и практически не пересекаются. Это помогает уйти от дилемм, связанных с постколониальной перспективой по отношению к российскому присутствию, и сконцентрироваться на взаимном обогащении. Здесь мы видим яркое противоречие между императивом культурного разнообразия и неоднозначным наследием белой эмиграции, которая, несмотря на определенный культурный престиж, воспринимается как проводник колониальной политики.

В 1999 г. журнал «Проблемы Дальнего Востока» опубликовал статью Ли Мэна «Харбин – продукт колониализма» [13], в которой де-мистификации подверглась не только главная легенда российского присутствия в Азии, но и сама идея присутствия русских в Китае. На фоне политических и экономических проблем в стране статья не вызвала резонанс, хотя заложенные в ней идеи были направлены против важного для 1990-х гг. мифа монументального наследия российской эмиграции. В противовес эмиграционной романтике статья рисовала драматический образ колониальной культурной политики, в которой русские почти не соприкасались с китайцами, а культурные контакты принимали форму цивилизационного импорта России в Китай. Не подвергая сомнению права Ли Мэна на эмоциональное отношение к российскому присутствию, следует заметить, что драматизм такого подхода связан со спецификой региона, очень поздно включенного в китайское культурное поле.

В целом Северо-Восточный Китай выстраивался как особая гибридная культурная зона, отличная от других частей страны контактом с западной (русской) и японской [14] культурами. Популярность православия, смешанные браки и близость России делали регион своеобразной зоной межкультурного контакта, где локальное китайское сообщество находилось под интенсивным российским, монгольским и японским влиянием. В этом контексте справедливые и несправедливые упреки в адрес российской эмиграции не меняют факта втягивания достаточно большого числа китайцев в российскую цивилизационную орбиту и появления китайско-российских субкультур.

Определенную роль в негативном прочтении опыта гибридности сыграла и китайская историография, применяющая с середины 1960-х гг. колониальную перспективу по отношению к китайско-российским отношениям. Широкое (цивилизационное) прочтение китайской нации давало возможность представить Среднюю Азию, Сибирь, Монголию и Дальний Восток потерянными территориями и символами постоянной опасности с севера. В этой перспективе Россия воспринималась как западная колониальная держава, слишком близко находящаяся к Китаю и поэтому вдвойне опасная. Перспектива опасности была особенно востребована в приграничных территориях, которые стали этнически китайскими только в середине века, а потому нуждались в новой мифологии *смелых людей китайского фронта*. Этому сопутствовал режим границы двух враждующих социалистических государств с его постоянной мобилизацией и милитаризацией социальной жизни. В этой перспективе новая трансграничность вырастает из периода конфронтации и колониального прочтения предыдущего опыта культурного синкретизма.

Ресибиризация внутреннего пользования: сибирский город для китайских эвенков. Переселение эвенков-оленьеводов в специальное поселение Алагуя (пригород г. Гэнхе во Внутренней Монголии) является очень интересным примером политики ресибиризации тунгусо-маньчжурских народов Китая. Судьба эвенков Китая напрямую связана с историей русско-китайских отношений. Появление русских переселенцев на территории Забайкальской части тунгусского коридора привело к постепенному выдавливанию эвенковского населения в Северном (Якутия) и Южном (Китай) направлениях, а также их ассимиляции с бурятами, казаками и русскими [15]. Высокая концентрация эвенков в приграничных районах Внутренней Монголии во многом является следствием царской (солоны, орочны) или советской (хамниганы, эвенки-оленьеводы) политики управления границей. Огромную роль в судьбе эвенков Китая сыграла особая политика маньчжурской династии по отношению к тунгусо-маньчжурским группам. Эвенкийская знать становится составной частью «новых маньчжуров», создаются пограничные социомилитарные структуры («знамена»),

превращающие кочевников в защитников границ страны. Эвенки участвуют в колонизации Китайского Туркестана, в боевых действиях в Непале, Тибете и на Тайване [16. С. 143].

Китайские эвенки, в отличие от российских, в большинстве представляют южную ветвь эвенкийской культуры с сильным влиянием монгольского мира на модели жизни и религиозные представления. Это касается и орохонов, которые, несмотря на название, практически полностью прекратили разведение оленей. Оленеводством занимается сейчас только малочисленная группа сибирского происхождения (237 человек), которая вместе с орохонами представляет северную ветвь эвенкийской культуры в регионе. Это сообщество возникло в результате переселения с берегов Лены [17, 18], в связи с чем в довоенной литературе часто выступало под этнонимом «якуты» [19]. Они являются сейчас одной из последних групп в Китае, пытающихся сохранить традиционный образ жизни северных оленеводов-охотников [20].

Северный характер культуры сообщества имеет широкое символическое значение, включая Китай в число стран, сохраняющих наследие глобальной циркулярной цивилизации. Кроме этого, сообщество играет большую роль в создании общеэвенкийского культурного канона, символизируя *настоящих эвенков* (без монгольских и маньчжурских влияний), нормативный образ которых поддерживается и тиражируется политикой региональной памяти, этносимволикой в национальных поселках и национальными эвенкийскими музеями. Несмотря на малочисленный характер сообщества, символы оленя и оленеводства являются ключевыми маркерами эвенкийскости. Памятники и изображения оленя украшают второй этнический поселок эвенков Нантун (пригород Хайлара), жители которого являются представителями южной ветви эвенкийской культуры и не занимаются разведением оленей.

Китайская наука и этноадминистративная практика во многом находятся под одновременным влиянием советской этнографии, жестко фиксирующей нормативные национальные модели, и националистического дискурса, подчеркивающего вынужденный исход эвенков из Забайкалья в Маньчжурию вместе со своим государством. В этом контексте на эвенков-оленьеводов проецируется патриотическая логика официальной эвенкийской истории. Ирония ситуации состоит в том, что большую часть своей истории сообщество находилось вне непосредственного влияния государственных институтов, являя собой классический пример *людей леса* [19].

Несмотря на попытки оставаться вдали от политики, это сообщество было заложником трудной истории приграничного региона. До конца 1930-х гг. они сотрудничали только с забайкальскими казаками-эмигрантами, находясь с ними в тесных экономических и родственных связях, выработанных еще в Забайкалье. Это сильно повлияло на сообщество: алагуяны приняли

многие элементы быта казаков, стали двуязычными, некоторые – православными. В 1940 г. власти Маньжоу-го принудительно переориентируют экономическую активность сообщества на японские фирмы и милитаризируют часть мужского населения [18]. На переломе 1944–1945 гг. начинается трагический период дезинтеграции и эскалации внутригруппового насилия, вызванный разным отношением к сотрудничеству с Квантунской армией и смертью шаманки (и политического лидера сообщества) Ольги Кудриной. С августа 1945 г. вхождение в советскую оккупационную зону приводит к возобновлению связей с русским старожильческим населением и массовому получению советского гражданства. Несмотря на это, с 1948 г. группа снова считается китайской, и националистическое, а потом новое коммунистическое правительство резко ограничивает связи с русским населением региона и даже запрещает кочевки на территории проживания русских эмигрантов. Государство проводит несколько неудачных попыток седентаризации и существенно снижает ареол кочевков в рамках защиты леса.

Следующим этапом были одновременная коллективизация оленеводческих хозяйств и включение сообщества в производство традиционных медикаментов на основе пантов в 1967 г. [21]. В 1984 г. сообщество проходит деколлективизацию в новом дуальном режиме социалистической собственности, сочетающем свободу производства с определенным контролем сбыта. Олени возвращаются в собственность семей, и сообщество достаточно эффективно находит себя в новых рыночных условиях. Несмотря на это, с конца 1990-х гг. по отношению к эвенкам применяются дискурсы экологического, экономического и культурного несоответствия. Это приводит к трансформации Алагуи (экономического центра кочевков) в оседлое поселение для всех членов сообщества [22]. Жизнь в лесу воспринималась как социальный (отсталость) и главный экологический риск для всей китайской нации. В 2002 г. государство строит эвенкам новый поселок под тем же названием с целью окончательного решения проблемы седентаризации. Новая Алагуя несет сложную смысловую нагрузку: поселок соединяет современные семейные коттеджи и официальные здания, построенные в стиле «эвенкийской архитектуры». Основная цель переселения была обозначена как защита леса от охотников-номадов и прекращение нomaдизма как отсталой социоэкономической практики. Во время переселения в СМИ подчеркивалась потребность пожертвовать интересами маленькой группы для интересов всего Китая, называя акцию «переселением для окружающей среды» (*shengtai yimin*) [22]. Это приводит к достаточно жесткой связи модернизации сообщества с защитой нации, в которой неизбежные потери представляются как ответственность сообщества перед страной.

Город организован как большой музей сибирского наследия, в котором монументальные административные здания демонстрируют эвенкийскую архитектуру, а

жители – наследие людей леса. Центральное здание представляет огромный музей, показывающий историю сообщества и включающий Китай в число стран с субарктическими локальными культурами. Ре-сибиризация в этом контексте предстает как окончательное включение лесных эвенков в современную китайскую жизнь в виде хранителей изобретенной традиции и продавцов символики жизни в лесу. Эта модель реактивации российского (сибирского) наследия не только не связана с Россией, но наоборот, имеет целью показать глубокое укоренение эвенков в китайской культуре. Сибирские элементы культуры сообщества не только не противопоставляются китайским, но и становятся символом утраты северных территорий и вынужденного ухода маленького народа в Маньчжурию вместе со своим государством. В этом контексте существует определенный спрос со стороны китайского государства на сохранение или даже вторичное приобретение эвенками сибирских элементов культуры (ре-сибиризация). Эта политика имеет оригинальные идеологические основания. В отличие от России, китайские эвенки включены в государственный исторический нарратив путем «эвенкизации» археологических артефактов региона и подчеркивания роли эвенков в истории Северных династий (чжурчжэней и маньчжуров). В этой перспективе эвенки неотделимы от истории Китая как народ, участвующий в управлении страной и пострадавший от колонизации Сибири. С точки зрения официальной версии, сообщество просто проходит через колониальный опыт, оставаясь своим для большой китайской нации. Историческая версия поддерживает этнографическую, открывая поле материализации стандартов аутентичности при помощи сибирских экспонатов в музеях, драматизации монгольского влияния и произвольных этно-архитектурных проектов. В отличие от российских эвенков, официальным домом жителей Алагуи не становится «современный» постсоветский город со скромной собственной этнополитической и культурной инфраструктурой. Здесь эвенки замкнуты в символическом пространстве, соединяющем прошлое и будущее в точке абсолютного культурного эталона, в которой почти не осталось места для обычной (не обозначенной внешней символикой) жизни.

Теряя лес, сообщество получает монументальную версию истории, право культурного эталона и априорно приписанный многовековой опыт китайской цивилизации. Как и в предыдущих случаях, поиск новых культурных форм подчинен двум процессам: производству этнографической привлекательности и декларации фронтирной лояльности. Здесь мы можем наблюдать

своеобразное *разделение труда* между сообществами: экс-сибирские эвенки поддерживают культурный эталон, а южные эвенки – статус защитников китайского фронта. В этой перспективе Алагуя является не только символом модернизации эвенкийского лесного сообщества, но и решительной попыткой включения сибирских элементов культуры в китайское культурное поле.

Как и везде в странах, распадающихся с социалистическими подходами к истории, национальные районы Китая постепенно меняют отношение к прошлому. Прошлое перестает быть рассказом о политических решениях и борьбе с социальной несправедливостью, становясь пространством этнического действия в политике, культуре и экономике. Возвращенное национальное прошлое перечеркивает одновременно и реальный исторический опыт, и его социалистические репрезентации. В отличие от России, Китай заинтересован не просто в торговле, но и в превращении северо-востока в зону культурной гибридации и обучения адаптированных для китайцев российских культурных моделей. Регион с опытом фронтирного социализма, массовой миграции и многолетней изоляции заново ищет свою культурную специфику, соединяя очень разноплановые элементы в причудливое целое. Такая активная культурная политика во многом направлена и на прошлое, которое формируется как компромисс между императивом фронтирной лояльности и рыночными потребностями быть особенным и неповторимым регионом.

Китайское общество отличает очень противоречивое отношение к прошлому, в котором массовое сознание культурной преемственности соединяется с опытом радикальных инноваций и принудительной коллективной амнезии периода Культурной революции. В этой перспективе вопрос о характере *нового прошлого региона* выходит за рамки противопоставления аутентичности – изобретенной традиции, здесь мы имеем дело с радикальным изменением концепции прошлого в сторону синтеза декларации о вневременной гражданской лояльности и формирования культурной базы инвестиционной привлекательности. Прошлое в этом контексте является резервуаром символов, усиливающих инвестиционную и туристическую привлекательность региона. В этой перспективе российское (сибирское) наследие играет сложную и неоднозначную роль в символической политике региональных властей, пытающихся одновременно совместить локальные практики деколонизации и локальные потребности рынка этнотуризма и представить регион как место эндогенной вестернизации.

ЛИТЕРАТУРА

1. Foucault M. Society Must be Defended: Lectures at the Collège de France, 1975–1976 by Michel Foucault. New York : Picador, 2003.
2. De Alba M. Social representations of urban space: A comment on mental map of Paris // Papers on Social Representations. 2011. № 20. С. 29.1–29.14.
3. Тругг Д. Психоанализ руин // Неприкосновенный запас. 2013. № 89/3. С. 139–148.
4. Guggenheim M. Building memory: Architecture, networks and users // Memory Studies. 2009. № 2 (39). С. 39–53.
5. Peshkov I. Usable Past for a Transbaikalian Borderline Town. 'Disarmament' of Memory and Geographical Imagination in Priargunsk // Inner Asia. 2014. № 16. С. 95–115.
6. McFarlane C. The city as machine for learning // Transactions of the Institute of British Geographers. 2011. № 36/3. С. 360–376.
7. Fitzpatrick Sh. Culture and Politics under Stalin: A Reappraisal // Slavic Review. 1976. Vol. 35, No 2 (January). P. 211–231.

8. Skocpol Th. Social Revolution and mass Military Mobilization // *World Politics*. 1988. Vol. 40, No 2 (January). P. 147–168.
9. Вишневский А. Серп и рубль. Консервативная модернизация в СССР. М. : ОГИ, 1998.
10. Duafang Lu. Remaking Chinese Urban Form: Modernity, Scarcity and Space, 1949–2005. L. ; N.Y. : Routledge, 2006.
11. Naughton B. The Chinese economy. Transition and Growth, Cambridge Ma, 2007.
12. Bhalla A.S., Shufang Qiu. Poverty and inequality among Chinese Minorities. L. ; N.Y., 2009.
13. Мэн Л. Харбин – продукт колониализма // *Проблемы Дальнего Востока*. 1999. № 1. С. 96–103.
14. Mitter R. The Manchurian Myth: Nationalism, Resistance, and Collaboration in Modern China. University of California Press, 2000.
15. Пешков И. Гураны, семеновцы, местнорусские. Специфика идентичности и культуры забайкальских гуранов в Монголии // *Россия в Монголии: История и современность*. Улаанбаатар, 2008.
16. Намсараева С.Б. Институт наместников Цинского Китая в Монголии и Тибете в XVIII веке : дис. ... канд. ист. наук. М., 2002.
17. Kong F. Aoluguya Ewenke liemin shihua (История эвенкийских охотников Алогуй). Hailar, 1985.
18. Афанасьева Е.Ф. Эвенки Китая // *Тунгусо-маньчжурские этносы в новом столетии* : матер. всерос. конф. с междунар. участием (Улан-Удэ, 11 ноября 2009 г.). Улан-Удэ : Изд-во Бурят. ун-та, 2010. С. 11–21.
19. Lindgren E.J. North-Western Manchuria and the Reindeer-Tungus // *The Geographical Journal*. 1930. Vol. LXXV (June). P. 518–534.
20. Kong F. Aoluguya de Ewenke ren (Эвенки Алогуй). Tianjin, 1989.
21. Nentwig I. Reminiscences about the Reindeer Herders of China, CSQ Issue: 27.1, 2003. The Troubled Taiga. URL: <http://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/china/reminiscences-about-reindeer-herders-china>.
22. Fraser R.A. Forced relocation amongst the Reindeer-Evenki of Inner Mongolia // *Inner Asia*. 2010. № 12 (2). P. 317–346.

Peshkov Ivan O. Institute of Eastern Studies, Adam Mickiewicz University (Poznan, Poland). E-mail: i.peshkov@wp.pl

NEW FUTURE FOR NEW CITY RESIDENTS: TRACES OF RUSSIAN PRESENCE IN CHINESE BORDERLAND CITIES.

Keywords: China; border; urban past.

Transformation processes changed formerly isolated and militarized borderland «bastion» towns into places of informal transborder contact, which in the case of Chinese borderland regions resulted in both spatial and temporal consequences in the form of a direct confrontation of their residents with the traces of Russian presence. Opening the borders and a sharp increase in borderland residents» mobility inspired attempts at creating new history for the new borderland territories. The neighbor (Russia) is no longer an enemy or a threat and turned into a source of cultural diversity. In Inner Mongolia the simultaneous overlapping of four national narratives of the past (Chinese, Mongolian, Evenki, and Russian) stimulated unique practices of separating the experience of negatively evaluated Russian colonization from the material traces of Russian presence perceived as positive. This paper aims at analyzing the role played by the traces of Russian presence in Northern Chinese urban public spaces. It will mainly focus on the mechanisms of reproducing the Russian (in Manchuria) and developing the Siberian symbolic fields in the syncretic environment of Chinese borderland Inner Asian regions. In contemporary China the growth of interest in Russian inhabitants is subject to neoliberal rewriting of the cultural space of the region from the perspective of their investment attractiveness and still with the idea of local residents» frontier loyalty. In this context it is worth emphasizing that demilitarization of the region lead to attempts of including Russian inhabitants in the contemporary life of borderland cities. Models of this inclusion to a great extent reflect the new demographic and cultural situation created by the frontier variations of socialism – the search for new forms of collective memory and local identity. Dr-problematizing Russia as a part of local history, the region develops completely new cultural models. New hybridity includes northern Chinese cities and towns in the barely noticeable systems of signs that differentiate them from the rest of the country. The new decoration of openness and multiculturalism is not only a tool for cultural policy, but also to the majority of new city residents is a basis for new identity that creates the context of the Russian»s presence and cultural richness of area. In this context city spaces have become a place of materialization of the political consensus related to the past.

REFERENCES

1. Foucault, M. (2003) “*Society Must be Defended*”: *Lectures at the Collège de France, 1975–1976* by Michel Foucault. New York: Picador.
2. De Alba, M. (2011) Social representations of urban space: A comment on mental map of Paris. *Papers on Social Representations*. 20. pp. 29.1-29.14.
3. Trigg, D. (2013) Psikhonanaliz ruin [The psychoanalysis of ruins]. *Neprikosnovennyi zapas*. 89/3. pp. 139-148.
4. Guggenheim, M. (2009) Building memory: Architecture, networks and users. *Memory Studies*. 2(39). pp. 39-53. DOI: 10.1177/1750698008097394
5. Peshkov, I. (2014) Usable Past for a Transbaikalian Borderline Town. ‘Disarmament’ of Memory and Geographical Imagination in Priargunsk. *Inner Asia*. 16. pp. 95-115. DOI: 10.1163/22105018-12340005
6. McFarlane, C. (2011) The city as machine for learning. *Transactions of the Institute of British Geographers*. 36/3. pp. 360-376. DOI: 10.1111/j.1475-5661.2011.00430.x.
7. Fitzpatrick, Sh. (1976) Culture and Politics under Stalin: A Reappraisal. *Slavic Review*. 35(2). pp. 211-231.
8. Skocpol, Th. (1988) Social Revolution and mass Military Mobilization. *World Politics*. 40(2). pp. 147-168. DOI: 10.2307/2010360
9. Vishnevskiy, A. (1998) *Serp i rubl'. Konservativnaya modernizatsiya v SSSR* [The Sickle and Ruble. Conservative Modernization in the USSR]. Moscow: OGI.
10. Duafang, L. (2006) *Remaking Chinese Urban Form: Modernity, Scarcity and Space, 1949–2005*. London, New York: Routledge.
11. Naughton, B. (2007) *The Chinese economy. Transition and Growth*. Cambridge: The MIT Press.
12. Bhalla, A.S. & Shufang, Q. (2009) *Poverty and inequality among Chinese Minorities*. London, New York: Routledge.
13. Maine, L. (1999) Harbin – produkt kolonializma [Harbin - the product of colonialism]. *Problemy Dal'nego Vostoka – The Far Eastern Affairs*. 1. pp. 96-103.
14. Mitter, R. (2000) *The Manchurian Myth: Nationalism, Resistance, and Collaboration in Modern China*. University of California Press.
15. Peshkov, I. (2008) Gurany, semenovtsy, mestnorrusskie. Spetsifika identichnosti i kul'tury zabaykal'skikh guranov v Mongolii [The Gurans, Semenovtsy, local Russians. The specificity of identity and culture in Mongolia transbaikalian Gurans]. In: *Rossiya v Mongolii: Istoriya i sovremenost'* [Russia in Mongolia: history and modernity]. Ulaanbaatar.
16. Namsaraeva, S.B. (2002) *Institut naimestnikov Tsinskogo Kitaya v Mongolii i Tibe v XVIII veke* [The institute of governors of Qing of China in Mongolia and Tibet in the 18th century]. History Cand. Diss. Moscow.
17. Kong, F. (1985) *Aoluguya Ewenke liemin shihua* [The history of Alogui Evenk hunters]. Hailar.
18. Afanas'eva, E.F. (2010) [The Evenkis of China]. *Tunguso-man'chzhurskie etnosy v novom stoletii* [Manchu-Tungus ethnic groups in the new century]. Proc. of the All-Russian Conference with international participation. Ulan-Ude. 11th November. Ulan-Ude: Buryat University. pp. 11-21.
19. Lindgren, E.J. (1930) North-Western Manchuria and the Reindeer-Tungus. *The Geographical Journal*. LXXV. pp. 518-534.
20. Kong, F. (1989) *Aoluguya de Ewenke ren* [The Alogui Evenkis]. Tianjin.
21. Nentwig, I. (2003) Reminiscences about the Reindeer Herders of China. *Cultural Survival Questions*. 27.1. [Online] Available from: <http://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/china/reminiscences-about-reindeer-herders-china>.
22. Fraser, R.A. (2010) Forced relocation amongst the Reindeer-Evenki of Inner Mongolia. *Inner Asia*. 12(2). pp. 317-346. DOI: 10.1163/000000010794983531